

Федор РЮХЕЛЬ

Два рассказа об одном и том же

У Бабеля есть рассказ, как бы неизвестно зачем написанный. Где вавилонская пестрота бабелевских персонажей, говорящих на одесском языке, возникшем после смешения прочих языков, где многоцветные фрагменты осевшей Вавилонской башни, этого неоконченного долгостроя, что не устоял на берегу, неизменно сползающем в море?

В нём нет ни галантных налётчиков с Молдаванки, в ритме "7:40" постреливающих из револьверов так, чтоб, б-же упаси, не повредить живых людей; ни чистоплотных красных конников, могущих зарезать еврея, даже не забрызгавшись; ни лицезрения девичьих тайн, подсмотренных сквозь щёлку, зрелища, за которое в прежней России судили по статье 1001 нескончаемого, словно рассказы Шахерезады, уложения гражданских законов; нет и воспоминаний о собственном детстве, горьких, как излишний желудочный сок. В нём нет ни слова про канареечно-жёлтое счастье глухих еврейских местечек, ни даже о том, какой ценой оплачена коллективизация и сколь хорошо живётся в новой советской деревне. В общем, ничего, чтобы можно было сказать: это — Бабель. И даже сердобольная русская женщина не будет довольна, прочитав этот рассказ перед сном.

Автор и сам мало ценил его, о чём сообщал в письме родным: "Удивляюсь тому, что в зарубежной прессе пишут о таких пустяках как "Карл Янкель". Рассказ этот неудачен и к тому же чудовищно искажен. Я уже, кажется, писал вам, что его напечатали по невыправленному тексту (черновому) с ошибками, совершенно уничтожающими смысл".

И это странно. Потому что Бабель, который писал медлительно и долго, мог отложить в сторону куда более удачную вещь. Но закончить рассказ посредственный и отдать его в журнал, где ни до, ни после того не публиковался, а потом включить в сборник рассказов — что-то, да значит. Бабель не любил печатать и вещи, ему удавшиеся, и представляется, кабы не деньги, вернее, постоянная, хроническая их нехватка, не печатал бы и совсем ни строки. Наблюдать бы, обдумывать, записывать. И складывал рукописи в сундук.

Рассказ будто и примыкает к череде "Одесских рассказов", и отличен от них, не схож. Сюжет его дробен и обстоятелен, утверждён во времени, чего не скажешь о сюжете рассказов "Король", "Как это делалось в Одессе" или "Фроим Грач", дробностью ближе он к поздним рассказам, наподобие "Гапы Гужвы" и "Колывушки", однако дикий диалог открытая концовка, меланхолическая риторика с проблиском тоски не характерны и для них.

Вот этот сюжет в кратком изложении. Без разрешения отца ребёнка, глупого заготовителя, старательно вписывающегося в новую действительность, только заручившись молчаливым согласием недавней роженицы, бабка призвала оператора, такого старинного, что, чудится, это он своим инструментом отделил свет от тьмы, и младенцу сделали обрезание, после чего тот получил вдобавок к первому имени, данному в честь основопо-

ложника марксизма-ленинизма, второе, традиционное. Возмущённый отец жалуется по инстанциям, власти устраивают показательный суд, дабы неповадно было сеять религиозный дурман и придерживаться древних обычаев. Раввины, комсомольцы, прокурор и общественный обвинитель — эти ходатаи разных сторон, предстали различных мировоззрений и жизненных позиций — сошлись в зале суда.

Но концовка рассказа, которая известна значительно больше, чем сам рассказ, ставшая и цитатой, и присловьем, и названием книги Ростислава Александрова, посвящённой истории родного города, концовка эта подсказывает — что-то не так, автор хотел говорить об ином и не решился сказать напрямик или не захотел это сделать. Кто читал "Одесские рассказы", должно быть, помнит, насколько погружён рассказчик в хитросплетения немудрёной и причудливой жизни своих персонажей, и не зря художник, иллюстрируя этот цикл, изобразил Бабеля рядом с Арье-Лейбом, они удобно расположились на солнце под морским ветерком, отдувающим излишнюю жару. И потому непривычен голос рассказчика, тронутый усталостью, незнакома интонация совсем стороннего наблюдателя: "Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью, — Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня..."

Диспут о древнем и новейшем не кончен. Могут ли уживаться, сойдясь в человеке, сразу два или три начала, кто знает? Но диспут в зале суда — это частности. Главное сосредоточено за сюжетом, втиснуто порой между строк или вставлено после точки, знака окончательного препинания, когда одно предложение бесспорно завершилось, а другое ещё не возникло. И пока знатоки и неопиты спорят о выгодах и убытках бриса (точно возможен ущерб от обмена кусочка плоти на причастность к тысячелетней культуре, ведь это залог, правда, безвозвратный) и демонстрируют выгоды на собственном примере, потому что лучше раз посмотреть своими глазами, чем всю жизнь слушать чужие рассказы о том, чего никогда не видел, говаривала жена праведника Лота, следует пояснить, что же стоит за словами, втиснулось между знаком препинания, который отметил завершение мысли, и маюскулом, опять зовущим к размышлению.

Там культура не тысячелетий, а молодая, советская, начинающаяся, кроме прочего, с рассказа Всеволода Иванова "Дите", сюжет которого проще и короче сюжета бабелевского рассказа.

Красные партизаны застрелили двух людей в белогвардейской форме, один из которых

оказался к тому же бабой, и на беду свою обнаружили в бричке убитых младенца. Его, как не вступившего в классовую борьбу, оставили покуда жить.

А для того, чтобы младенец не истаял от голода, умыкнули киргизку с грудным ребёнком, каковую содержать легче и дешевле, чем корову или другую скотину. Так бы и шло, но мужики заметили, что киргизёнок упитанный и весёлый, а младенец родного вероисповедания худ, вроде как бы киргизка его недокармливает. Свешали младенцев — киргизёнок перетянул. Тож непорядок: "По-моему — русскому человеку пропадать там из-за какова-то немаканова..."

И тогда киргизёнка отвезли в степь, чтобы обе груди с насущным молоком доставались привеченному мальцу: "Дня через два стояли мужики у палатки на цыпочках и чрез плечи друг друга заглядывали вовнутрь, где на кошме киргизка кормила белое дите.

Было у киргизки покорное лицо с узкими, как зерна овса, глазами; фаевый фиолетовый кафтан и сафьяновые ичиги-сапожки. Было дите личиком в грудь, сучило ручонками по кафтану, а ноги мотались смешно и неуклюже, точно он прыгал".

Вот и весь рассказ. Виктор Шкловский сравнивал его с новеллой Брета Гарта "Счастье Ревущего поселка", выходило сравнение в пользу местного писателя. Нравился, как утверждают, этот рассказ и товарищу Сталину. Что же, нарком по делам национальностей знал, как следует решать национальный вопрос и ради чего.

Нравился ли рассказ Бабелю — неизвестно. Но он товариществовал со Всеволодом Ивановым. Приятельство длилось до поры, пока связи не порвались. Женщина, на которой Бабель собирался жениться, стала женой Всеволода Иванова, а ребёнок его, Михаил, долго не знал, что Всеволод Иванов ему не родной отец.

Какие чувства испытывал Бабель? Уж, верно, не сентиментальные, хотя писал роженице на следующий день: "Вчера, 13 июля (по старому стилю 30 июня), был день моего рождения, и парень этот родился 30 июня. Как я ни далек от фатализма и суеверия, но перст божий указывает здесь ясно — удивительное совпадение и трогательное".

Писал, а взглянуть на своего первенца не поехал, обстоятельства не способствовали. Собирался долго, а когда собрался, видется с ребёнком ему запретили. Тогда и появился в журнале "Звезда", № 3 за 1931 год, рассказ "Карл-Янкель". Под рассказом обозначена двойная дата: годы 1924 — 1929. Насколько датировка точна, надо судить по такому эпизоду. Покамест шли суд да дело, выслушивали свидетелей и обвиняемых, рассказчик выбрался в коридор: "Дверь из красного уголка была приоткрыта. Оттуда доносило кряхтенье и чавканье Карл-Янкеля. В красном уголке висел портрет Ленина, тот, где он говорит с броневика на площади Финляндского вокзала; портрет окружали цветные диаграммы выработки фабрики имени Петровского. Вдоль стены стояли знамена



Михаил Иванов. Автопортрет

и ружья в деревянных станках. Работница с лицом киргизки, наклонив голову, кормила Карл-Янкеля. Это был пухлый человек пяти месяцев от роду в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди.

— Галас какой подняли, — сказала киргизка, — найдется, кому покормить...

В комнате вертелась еще девчонка лет семнадцати, в красном платочке и с щеками, торчавшими, как шишки. Она вытирала досуха клеенку Карл-Янкеля.

— Он военный будет, — сказала девчонка, — ишь, дерется...

Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карл-Янкеля. Он заворчал и в отчаянии запрокинул голову — с белым хохлом... Женщина высвободила другую грудь и дала ее мальчику. Он посмотрел на сосок мутными глазенками, что-то сверкнуло в них. Киргизка смотрела на Карл-Янкеля сверху, скосив черный глаз.

— Зачем военный, — сказала она, поправляя мальчику чепец, — он авиатор у нас будет, он под небом летать будет..."

Михаил Иванов стал художником, одним из лучших мастеров московской школы живописи, собственноручно, и начинавшейся, в том числе, с него. В конце жизни он говорил, что хочет сменить прежнюю фамилию на фамилию Бабель. Успел ли он это сделать — неизвестно.

Следовало бы, наверное, посвятить этот очерк памяти Александра Розенбойма, летописца одесской культуры, но я посвящаю его Насте Ивановой, которой описываемые здесь события и перипетии, быть может, неведомые, кровно близки...

Евгений УШАН

Стихи для детей и не только

Метеорит

Если шея и уши у вас в чернилах,
А вода в корыте остыла —
Забирайтесь на крышу
вместе с корытом
И ждите падения метеорита.
Когда он плюхнется и воду
согреет, времени не теряйте:
Мыльной мочалкой потрите шею,
А уши пемзой подрайте.
А когда отмоете
чернильные пятна,
Звёздного пришельца в небо
бросьте обратно -
Ведь если на всех
не хватит метеоритов,
Сколько детей
останется неумытых.

Болтливые ноги

Говорить не могут ноги,
Им положено молчать —
Ноги могут по дороге
За грибами в лес шагать.
Топать в валенках по снегу,
Мчать по пляжу босиком,
Могут прыгать, могут бегать,
А устав, идти пешком.

Говорю я это маме,
А она ворчит опять:
— Перестань болтать ногами.
Сколько можно повторять?

Бегемот

Однажды очень юный,
Но смелый бегемот
По трапу судовому
Взошёл на пароход.

— Возьмите меня в плаванье, —
Сказал он капитану, —
Хоть юнгой, хоть матросом,
Мне, право, всё равно.
Хочу я в шторм качаться,
Услышать крики чаек.
И айсберги увидеть
Мечтаю я давно.

Но капитан сказал ему:
— К большому сожаленью,
На всех постах и вахтах
Заполнены места.
Но если вы так просите,
Могу я вас зачислить
На должность судового
Дежурного кота.

— Но это удивительно! —
Воскликнул бегемот.
— И даже оскорбительно, —
Добавил бегемот.

— Ну, словом, возмутительно,
А впрочем, восхитительно,
Ведь я буду не просто,
А корабельный кот.

Служил он, как положено:
Мурлыкал, если гладили.
Пил молоко из блюдца,
Бежал на зов: "Кис-кис!"
Имел одну лишь слабость.
Малюсенькую слабость,
Простительную слабость —
Боялся очень крыс.

Осьминожка

У мамыши-осьминожки
Восемь славных малышей —
Всех корми сама из ложки,
Всех обуи и всех обшей.

Погуляй со всеми в срок,
Испеки в обед пирог —
День и ночь в заботах мама,
Не хватает рук и ног.

А со стиркой осьминожке
Просто сушая беда —
Негде высушить одежды,
Ведь кругом одна вода.

Всадники

Два всадника мчались,
пришпорив коней,
Чтоб выяснить — кто же
наездник сильней?

Но миля за милей тянулся их спор —
Шли кони бок о бок,
не слушаясь шпор.

Что только ни делали двое друзей:
Хлестали лошадок, кричали: "Эгей!"

Но кони упорно, опять и опять
Шли рядом,
в обгон не желая скакать.

Решили друзья,
утомившись с борьбой:
"Победы мы оба достойны с тобой!"

И, вынув
из тесных стремян башмаки,
Сошли с... карусели друзья-чудаки.

Лев

Вадик в Африку играет:
Притаился у двери
И рычит, родных пугая,
Словно грозный царь зверей.

Но в раскрытое окошко
Жук влетел и стал жужжать —
Испугался "лев" немножко
И забрался под кровать.

Мама очень удивилась:
— Что-то в Африке случилось.
Не видала я пока
Львов, бегущих от жука.

Но сказал с обидой Вадик:
— И совсем я не бегу,
Просто я сейчас в засаде —
Антилопу стерегу.

Гуськов

— Гуськов, почему ты на занятиях
пришел с обезьяной?
— Вы же сами велели
в класс притащить павиана.
Вы сказали, что без родных
не пустите меня на уроки.
Вот я и пришел с родственником,
хотя и очень далеким.
— А ты знаешь, Гуськов,
как поступок твой называется?
— Да Вы не бойтесь, Ольга Петровна,
Павиан еще маленький,
он не кусается.